

## ТАТЬЯНА ЛАРИНА И «РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ»

## (К постановке вопроса)

Мы привыкли представлять героиню «Евгения Онегина» этакой монолитной фигурой, для которой определение: «Татьяна, русская душою...» — оказывается едва ли не исчерпывающим. Представление это идет еще от Белинского, согласно утверждению которого Пушкин «первый поэтически воспроизвел в лице Татьяны русскую женщину»<sup>1</sup>. При этом определение «первый» вроде бы освобождает от поисков литературных предшественников Татьяны, а сочетание «идеал русской женщины» настраивает на цельное, «безвариантное», однозначное истолкование образа.

Но уже истолкование Белинского оказывалось внутренне противоречивым. Как подметил Г. Красухин, трудно, например, совместить положение Белинского о том, что «Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же» и в то же время — «пока она в свете — его мнение будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью»; о том, что она одновременно «презирает» большой свет — и «трепещет» перед ним за свое доброе имя...<sup>2</sup>. Как отметил Е. Соллертинский, Татьяна лишь «частично» осуществляет идеал Пушкина: она «барыня, генеральша в Петербурге, «законодательница зал» и т. п. — какое же это народное начало?»<sup>3</sup>.

И однако, подобные противоречия идут не от толкователей и даже, вероятно, не от «противоречия» как принципа поэтики «Евгения Онегина», а от внутренних особенностей типа «русской душою» героини.

На протяжении романа Татьяна совершает, в сущности, два самостоятельных поступка; оба очень странные, и оба имеют устойчивую литературную традицию. В основе первого поступка — письма к Онегину — лежит традиция европейского сентиментального романа (в черновой рукописи: «И так любимой был игрушкой/ Татьяне важный Рич<ардсон>» — VI, 292). Поступок этот вполне

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. — М., 1953—1959. — Т. 7. — С. 473.

<sup>2</sup> См. Красухин Г. Покой и воля: Некоторые проблемы пушкинского творчества. — М., 1987. — С. 103—104.

<sup>3</sup> Соллертинский Е. Е. Русский реалистический роман первой половины XIX века. — Вологда, 1973 — С. 19.

«европейский», и в качестве такового противостоит патриархальному быту героини.

Второй (и последний) ее поступок — отказ от любовных притязаний Онегина и насильственное преодоление собственных чувств. Это уже нацеленно, определено «русский» поступок, также опирающийся на литературную традицию. В эпоху «Евгения Онегина» был героизирован и в некоторой степени мифологизирован образ княгини Н. Б. Шереметьевой-Долгоруковой, — а одной из сторон этого образа была как раз идея о вечной верности «другому» (не любимому, но соединенному судьбой). Облик княгини Долгоруковой становился оборотной стороной образа «Клариссы, Юлии, Дельфины» и в качестве такового был закреплен в повести С. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева», в думе Рылеева «Наталия Долгорукова», в поэме И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» и т. п. Татьяна поступает в соответствии с этим литературным образом (и в этом поступке оказывается сопоставима с женами декабристов<sup>4</sup>), — но и этот, второй, ее поступок оказывается противопоставлен ее новому, изменившемуся окружению.

Антиномичность этих двух — начального и заключительного — поступков Татьяны создает особого рода ситуацию: героиня пушкинского романа включается в две противоположные системы отношений: становясь выразителем «русской традиции», она одновременно выступает и как носитель «идеи» и традиции европейского просветительства, «влюбленная» даже в его «обманы» (VI, 44). При этом проявления той и другой традиции возникают в качестве некоего противопоставления окружающей бытовой обстановке.

Подобное изначально заявленное противоречивое «двуединство» облика Татьяны Лариной порождает целый комплекс противоречий частных, как объясненных, так и необъясняемых:

— «Она по-русски плохо знала, / Журналов наших не читала...» (VI, 63). Пушкин объясняет (и оправдывает) эту деталь бытия «русской» героини на протяжении четырех строф. Среди «журналов наших» назван «Благонамеренный» А. Измайлова (1818—1826), журнал, тяготевший к архаической литературной позиции и к ушедшему уже со сцены «патриотическому» направлению 1810-х годов. Отсылка к «Благонамеренному» сопровождается язвительным примечанием (VI, 193), — но в одной из беловых рукописей на месте архаичного журнала Измайлова стояло: «Ну можно ль их себе представить / С Кавк <азским> Плен <ником> в руках?» (VI, 584). Свою поэму Пушкин ставил в ряд русских созданий, чуждых его героине.

— «Татьяна верила преданьям / Простонародной старины...» (VI, 99). Но как приходят старинные «предания» к той, которая «вы-

<sup>4</sup> См.: Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни: Бытовое поведение как историко-психологическая категория // Литературное наследие декабристов. — Л., 1975. — С. 47—51.

ражалася с трудом/На языке своем родном» (VI, 63)? И зачем ей «предания», если ей «заменяли всё» (VI, 44) инонациональные романы? Но именно «предания» лежали в основе журнальной пропаганды, например, «Русского вестника» — предтечи тех «журналов наших», от языковой стихии которых Татьяна отстранена. А ее «романное» бытие никак, в сущности, не совмещается с заявленной ее любовью к «русской зиме» (которая по своей бытовой поэтике противопоставлена «романам»).

— «С картины яркой — список бледный/Или перстами учениц/Разыгранный Моцарт иль Диц» (VI, 313—314). Так Пушкин представляет (в черновом варианте) свой «неполный слабый перевод» письма Татьяны, и тем самым утверждает прямую художественную силу «подлинника». Когда же П. А. Вяземский осенью 1824 г. прислал Пушкину небольшое замечание по поводу этого текста, указав на одно «противумыслие» в заявлении Татьяны (XIII, 117), — автор предложил отнестись к этому «подлиннику» совсем иначе: «...если впрочем смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» (XIII, 125). Автор письма в пушкинском сознании выступает одновременно как носитель двух противоположных обликов: творец потрясающего по непосредственной силе воздействия, «свято» оберегаемого текста — и наивная влюбленная девушка... Эта же «двузначность» облика Татьяны закреплена и в романе: обладая замечательным непосредственным чувством другого человека, она вместе с тем «начинает понемногу... *понимать*» (VI, 149) своего возлюбленного, только посетив его кабинет, — когда уже все отношения между ними прерваны.

И так далее. Подобная способность Татьяны одновременно существовать в разных логических и психологических уровнях романного бытия делает ее персонажем особенным, и характер ее дает простор для самых разных определений и «угадываний» (что проявилось хотя бы в прямом несходстве ее «классических» оценок: Белинского, Писарева, Достоевского и т. д.). Эта же «неуловимость» образа определяет и ее особенные отношения с «русской традицией».

Эта традиция, зародившаяся в начале XIX века и представленная, с одной стороны, именами А. Шишкова, С. Глинки, Ф. Ростопчина, с другой — именами Н. Карамзина-историка, А. Оленина, И. Крылова, — была отражением еще неразвитой славянофильской ситуации. Определение «русского духа» и национальных начал шло на основе познания европейских культурных основ и неприятия их по тем или другим причинам. Европейский культурно-исторический опыт противопоставлялся априорному «русскому» началу и, в зависимости от «знака» этого противопоставления, принимался или не принимался для России.

Характерный пример этой многосмысленности «русской традиции» — статья К. Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815), в которой бывший вольтерьянец, пере-

живший наполеоновские войны, стремился совместить для себя философию европейского Просвещения и христианскую религию, ставшую нравственной основой русского патриотического духа. При этом Батюшков не может отказаться ни от европейских «приобретений», ни от лучших сторон русской «исконности». При этом его философско-моралистическая двойственность оказывается сродни «бытовому» неадекватному ощущению Татьяны.

Моралист Батюшков ставит проблему широко и абстрактно: «Где и что такое эти наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные слабостью души и тела, помраченные воспоминанием или грустным предвидением будущего?.. Нет ответа и не может быть!»<sup>5</sup>.

Татьяна применяет тот же вопрос к себе самой — но и для нее «нет ответа»:

*...Сейчас отдать я рада  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этот блеск, и шум, и чад  
За полку книг, за дикой сад,  
За наше бедное жилище...*

*Да за смиренное кладбище...*  
(VI, 188).

Бытовая двойственность «русской душой» Татьяны проявляется уже в самом ее именовании<sup>6</sup>: имя «Татьяна» в структуре «Евгения Онегина» оказывается не столько бытовым знаком простонародности героини, сколько литературным (и поэтому в значительной степени условным) сигналом «старинности», «исконности» этого типа. Мы уже указывали на связь этого именованья с существовавшей в «патриотической» литературе начала XIX века традицией соотнесения традиционного православного имени «Татьяна» и «модного» литературного имени «Темира», отсутствовавшего в святцах, но очень распространенного в литературе русского сентиментализма и романтизма.

На эту литературную антиномию накладывался бытовой факт: имя «Темира» было условной «светской» кличкой некоторых петербургских любительниц литературы и «законодательниц зал». Одну такую «Темиру» указал сам Пушкин: это жена графа Д. И. Хвостова, «достойная супруга маститого нашего Певца» (II, 388), которую звали Аграфена Ивановна. Другая «Темира» была урожденной Татьяной: это любительница литературы и переводчица Татьяна Семеновна Вейдемейер (1792—1868), воспитанница Смольного института, жена действительного статского советника, знакомая Пушкина и приятельница его сестры Ольги Сергеевны, прославившаяся, между прочим, экстравагантностью своего «салонного» поведения. Ее (вместе с А. И. Хвостовой и второй женой

<sup>5</sup> Батюшков К. Н. Соч.: в 3 т. — СПб., 1885—1887. — Т. 2. — С. 133.

<sup>6</sup> См. об этом: Кошелев В. А. «Ее сестра звалась Татьяна...» (Об имени пушкинской героини)//Болдинские чтения. — Горький, 1988. — С. 154—162.

адмирала А. С. Шишкова Юлией Осиповной) вывел А. Ф. Воейков в своей сатире «Дом сумасшедших», причем «Женское отделение» этой сатиры было написано специально, по просьбе «Темиры» Вейдемейер, которую вполне удовлетворила следующая характеристика:

*Вот Темира! Вкруг разбросан  
Перьев пук, тряпиц, газет;  
Ангел дьяволом причесан  
И чертовкою одет.  
Карлица и великанша,  
Смесь юродств и красоты.  
По талантам — генеральша,  
По причудам — прачка ты!<sup>7</sup>*

Внешне эта характеристика никак не соотносится с обликом Татьяны Лариной, «сей величавой», «сей небрежной» (VI, 178) и т. п. Совпадает лишь основной прием — представление персонажа через систему антиномий («ангел дьяволом причесан», «карлица и великанша», «смесь юродств и красоты», «генеральша» — и «прачка»). Совпадает и имущественное положение пушкинской героини и трех персонажей из «Женского отделения»: все они «генеральши», живущие в Петербурге замужем за именитыми мужьями, которых «ласкает двор» (VI, 187). Именно такой предстает Татьяна в последней главе романа.

Известна уничижительная характеристика ее «домашнего» общества: «Везде встречаемые лица,/Необходимые глупцы...», «...в душистых седилах/Старик, по старому шутивший...», «...на эпиграммы падкий,/На все сердитый господин...», «...Проласов, заслуживший/Известность низостью души...», «...путешественник залетный,/Перекрахмаленный нахал...» (VI, 176—177) и т. п. Татьяна Ларина принимает в генеральском доме лиц, явно этого недостойных.

А вот кого принимает в «адмиральском» доме Ю. О. Шишкова:

*Причт попов и полк гусаров,  
Князь Кутузов, князь Репнин,  
Битый-Корсаков, Кайсаров  
И Огарков, и Свечнин... —*

Перед нами те же «необходимые глупцы», только названные по именам. Хозяйка же дома, воспринятая глазами «светского» автора (А. Воейкова) — это та же Татьяна Ларина в «негативном» отражении:

*Все валитесь хлюстом — сердце  
Преширокое у ней,  
Да и в старике-младенце  
Клад — не муж достался ей!*

<sup>7</sup> «Дом сумасшедших» цит по изд.: Лотман Ю. М. Сатира Воейкова «Дом сумасшедших»//Уч. зап. Тартусского гос. ун-та. — Вып. 306. — Тарту, 1973. — С. 3—45.

Вот сочувственный взгляд современного исследователя на «бедственное» положение замужней Татьяны Лариной: «...блестящая княгиня Татьяна не вольна в собственном выборе. Она *обязана* выезжать в свет и принимать у себя. И она не отступает от своего «утеснительного сана»... Даже негодяя Проласова обязана принимать Татьяна — вот цена, которую ей приходится платить за высокий светский сан»<sup>8</sup>.

Полноте, так ли уж «обязана»? Вот взгляд на Ю. О. Шишкову, так сказать, «со стороны мужа». С. Т. Аксаков в «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове» так пишет о жизни адмирала после вторичной женитьбы: «Общество его совершенно переменялось. Шишков, заклятый враг католиков и поляков, был окружен ими. Новая супруга наводнила его дом людьми совсем другого рода, чем прежде, и я не мог равнодушно видеть достопочтенного Шишкова посреди разных усачей, самонадеянных и заносчивых, болтавших всякий вздор и обращавшихся с ним слишком запросто»<sup>9</sup>. Но ведь подобная характеристика Татьяны через общество, ее окружающее, могла исходить и от какого-нибудь старого знакомого ее «толстого» генерала...

Ведь будучи «отдана» своему супругу, Татьяна строит свое бытие, вряд ли согласуясь с прежним бытием мужа. Для того, чтобы выделиться в «свете», она должна противопоставить ему собственную «натуру», а поскольку ее окружение не отличается от круга петербургских «зал», то от нее требуется особого рода поведение: «божество» принимает облик «чертовки», «прачка» — облик «генеральши».

Пушкин очень точно уловил это «противостояние». Творческая история создания этой картинки «большого света», собравшегося в доме Татьяны (строфы XXIII—XXVI 8-й главы), на первый взгляд, кажется весьма странной. В черновых набросках характеристики Пушкина весьма заострены, проникнуты язвительной сатирой:

*Вошел собой одним довольный  
Всегда сердитый Гр<аф> Турин  
На дом хозяйки, слишком вольный  
На глупость дам, на тон мужчин  
На Вензель, двум сироткам данный  
На Польшу, на климат туманный  
На немоту жены своей  
На тальи спелых дочерей... (VI, 511).*

Или:

*Тут [Лиза] дочь его была  
Уж так жеманна, так мала  
Так неопрятна, так писклива  
Что поневоле каждый гость  
Предполагал в ней ум и злость... (VI, 513).*

<sup>8</sup> Красухин Г. Покой и воля. — С. 103.

<sup>9</sup> Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 3 т. — М., 1986. — Т. 2. — С. 282.

И еще: некий «нахмуренный <злодей>./Известный важностью нахальной/И также низостью своей» (VI, 512); «Явился Р — знаменитый/Карандашом St. При убитый...» (VI, 514); «Тут был отец ее пролаз/Нулек на ножках...» (VI, 514); «Лорнетом даму отыскал./Сел, улыбнулся и соврал...» (VI, 515) и т. д.

В беловых рукописях поначалу продолжается эта же линия: сатира на петербургское общество становится еще более острой и хлысткой:

*Тут был [К. М.] фра<нцуз> женатый  
На кукле чахлой и горбатой  
И семи тысячах душах;  
Тут был во всех своих звездах  
[Правленья Цензор] непреклонный  
(Недавно грозный сей Катон  
За взятки места был лишен)  
Тут был еще сенатор сонный,  
Проведший с картами свой век,  
Для власти нужный человек. (VI, 630).*

Эти наброски Пушкина не удовлетворили: подобное сообщество не соответствовало «идеальной» героине, которая может быть противопоставлена подобному окружению (как она противопоставлена, например, «гостям» в поместном доме Лариных), — но не может являться его «законодательницей». Для «законодательницы» требуется нечто иное — и в дальнейшей работе над текстом Пушкин конструирует это «иное»: «Тут был отборный цвет столицы/Большого света образцы...», «Надменны с виду, но не злые...» (VI, 628). И далее:

*В гостиной истинно дворянской  
Чуждались щегольства речей  
И щекотливости мещанской  
Журнальных чопорных судей (VI, 626)  
Или:  
Никто насмешкою холодной  
Встречать не думал старика  
Заметя воротник немодный  
Под бантом шейного платка.  
И новичка-провинциала  
Хозяйка [спесью] не смущала  
Равно для всех она была  
Непринужденна и мила. (VI, 627).*

И даже дамы в ее салоне оказываются неожиданно дружными и единодушными:

*И та, которой улыбалась  
Расцветшей жизни благодать,  
И та, которая сбиралась  
Уж общим мнением управлять  
И представительница света  
И та, чья скромная пламента*

*Должна была когда-нибудь  
Смирненным счастьем блеснуть  
И та, которой сердце тайно  
Нося безумной страсти казнь  
Питало ревность и боязнь —  
Соединенные случайно  
Друг дружбе чуждые душой  
Сидели тут одна с другой (VI, 628—629).*

И, наконец, совсем уж неожиданное для «большого света»:

*В гостиной светской и свободной  
Был принят слог простонародный  
И не пугал ничьих ушей  
Живою странностью своей... (VI, 627).*

Казалось бы, вот оно, действительно идеальное, сообщество для любимой героини, «хозяйки светской и свободной». Но нет: вариант, представленный в беловых рукописях, Пушкина не удовлетворяет — в окончательном тексте он фактически возвращается к черновым «приговорам», хотя и значительно смягчает их. Почему?

«Беловой» вариант представлял картинку некоего «естественного», «русского» семейства в столице — и тем самым противопоставлялся принятому быту. «Слог простонародный» подходил для прославленных «русских обедов» Рылеева — но не мог быть опорным для «законодательницы зал». Не случайно, введя этот «слог простонародный», Пушкин (тут же, в скобках) начал большое лирическое отступление:

*(Чему наверно удивится  
Готовя свой разборный лист  
Иной глубокий журналист;  
Но в свете мало ль что творится  
О чем у нас не помышлял,  
Быть может, ни один Журнал!) (VI, 627).*

Объяснить и оправдать «простонародный» слог петербургского салона было бы гораздо сложнее, чем сделать то же самое в отношении «плохого» знания русской героинею русского языка и ее невнимания к «журналам нашим»... А главное: Пушкина не устраивало столь прямое и открытое подтверждение «идеальности» «русской души» Татьяны. Вся эта картина слишком намеренна для того, чтобы быть верной.

Пушкин возвратился к «черновому» толкованию именно потому, что на месте «беловой» гармоничности здесь существовала возможность антиномии. Именно в обстановке «необходимых глупцов» и «перекрахмаленных нахалов» Татьяна-«законодательница» должна становиться то «карлицей», то «великаншей», совмещать в себе и «юрродства», и «красоту». Ее салон — сборище одновременно и чего-то очень достойного, и чего-то низкого, — как всякий салон. А в самой «изменившейся» Татьяне удивляет только то, что удивляет Онегина, знавшего ее «барышней уездной»: «Ужели, — дума-



ет Евгений: /Ужель она? Но точно... Нет.../Как! из глуши степных селений...» (VI, 172). И характерный эпитет (в рукописи) в отношении к «сей величавой»: «Ужель та бедная Татьяна?» (VI, 625). А для тех, кто не помнит «ту бедную», — для тех нет и никакой метаморфозы...

Но читатель-то помнит. И не только помнит, но постоянно сопоставляет. И очень удивлен превращением бывшей простоватой «прачки» в важную «генеральшу».

Пушкинская изобразительная антиномия сюжетно скрыта. Татьяна, как она ведет себя в салоне, — совершенно естественна для окружающих, не подозревающих о ее «превращении». Для читателя же, привыкшего доверять автору, здесь масса загадок: ведь Пушкин, в сущности, ничего не рассказывает о «новой» Татьяне. Самые простые вопросы остаются без ответа: какова ее новая фамилия? есть ли у нее дети? какого возраста ее муж и насколько серьезно он «в сраженьях изувечен»? до какой степени она «богата и знатна»? и т. д. Пушкин чувствует, что любое подобное указание, как и любое объяснение метаморфозы его героини, — разрушило бы это впечатление неожиданной антиномичности. Тогда потребовался бы другой способ отделения Татьяны от «света» (например, экстравагантность поведения Т. С. Вейдемейер или Ю. О. Шишковой), который, в свою очередь, был бы слишком «нарочитым».

Но неприемлема и нарочитость «идеальная». Если бы Татьяна устроила в петербургском свете филиал своего усадебного дома (ибо «слог простонародный» предполагает и наличие «брусничной воды»), — то вряд ли смогла бы потрясти этим Онегина. Романа попросту не получилось бы: он держится на этой антиномичности Татьяны, которая скрыта за видимою гармонией и цельностью.

В этом и состоял основной принцип «представления» автором своей «русской душой» героини — одновременно новой для русской литературы и «старинной» по своему именованию и по своему замыслу. Подобный тип русской женщины в современных условиях не мог существовать вне антиномий (создаваемых, подчас, специально), которые и обеспечивали, в конечном счете, его естественность. Для сохранения «русской традиции» необходима ее переработка — и Пушкин строит свой «милый идеал» действительно «идеальным» способом: он «конструирует» героиню, не приспосабливаясь к бытовому представлению об идеале «русской души», а отталкиваясь от этого представления. Феномен Татьяны Лариной возникает именно на грани этих отталкиваний:

— «Она в семье своей родной/Казалась давочкой чужой» (VI, 42). Но это вовсе не означает, что Татьяна противостояла взрастившей ее патриархальной среде. Однако идеал «патриархальной» Ольги Пушкина не удовлетворяет, хотя вполне соответствует расхожему представлению о русской красавице — соответствует как внешне («Глаза, как небо, голубые,/улыбка, локоны льняные...» и т. д.), так и по основополагающим чертам внутреннего облика

(«Всегда скромна, всегда послушна,/Всегда как утро весела...» и т. д. — VI, 41). В черновиках эта характеристика осознавалась как облик героини (VI, 285—289) — но Пушкину потребовалось оттолкнуться от этого «портрета» и найти «новый карандаш» (II, 289) для создания того образа, который, по его мнению, более соответствует «русскому» началу.

— «Ей рано нравились романы...» (VI, 44). Те же романы нравились и ее «русской» матери. Но в отличие от матери, Татьяна никогда не переводила «романных» героев в быт: ее «Грандисон» не мог быть «славный франт,/Игрок и гвардии сержант» (VI, 45). У нее другой уровень осознания литературы.

— «...Итак, писала по-французски...» (VI, 63). Наперекор всем тирадам ревнителей «русского направления», Татьяна предпочитает французский эпистолярный язык — предпочитает именно потому, что по-французски ей проще выражать свои заветные мысли. Эту естественную особенность воспитания Татьяны Пушкин объясняет довольно путано и с многочисленными отклонениями в сторону той же «русской традиции»: «Родной земли спасая честь...» (VI, 63), «...Без грамматической ошибки/Я русской речи не люблю» (VI, 64) и т. д.

— «...для бедной Тани/Все были жребии равны...» (VI, 188). Финал «бедной Тани» неожидан. Читатель уже подготовлен к тому, что она соединяет свой непосредственный характер с европейской традицией (которая создает особенную ситуацию ответной «проповеди» Онегина, невысказанную в классическом сентиментальном романе), — в ситуации же замужества она оказывается неожиданно пассивной и в качестве оправдания придумывает характерную сентиментальную «картинку»: «А счастье было так возможно,/Так близко!..» — и: «Меня с слезами заклинянй/Молила мать...» (VI 188). «Картинка» явно не соответствует ни возможному «счастью», ни действительному облику старухи Лариной, что подметил еще Достоевский, принявший и оправдавший это Татьянино объяснение: «Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие...»<sup>10</sup>.

Подобные отталкивания проходят через весь роман. Пушкин как бы подчеркивает неоднозначность, «разномерность» современного русского типа — и его представление об *идеале* наполняется конструктивными противоречиями, которые и оттеняют, и одновременно отрицают уже сложившуюся «русскую традицию» русской литературы.

---

<sup>10</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1972—1988. — Т. 26. — С. 142.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО  
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

**ПОСВЯЩАЕТСЯ  
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА  
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЙМИНА**

Псков 1991